

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Ю.А. Голубицкий

О, ДРУГ МОЙ, УЧЁНЫЙ, ИЗЛАГАЙ МЫСЛЬ ГРАМОТНО!

(К вопросу о лексико-стилистическом аспекте текстов современных гуманитарных исследований)

Аннотация: автор статьи — филолог по первому образованию, литератор, социолог в научной деятельности — анализирует лексико-стилистические аспекты исследовательских текстов гуманитарных наук в контексте норм и традиций общенационального русского языка. По его мнению, в бинарной препозиции лингвистических дискурсов: энкратический и акратический языки, отечественная практика письменной фиксации результатов научной деятельности пребывает в форме квазиязыка и определяется не как самостоятельный коммуникативный феномен, а, прежде всего, как комплекс аномалий по отношению к общеупотребимому языку. Статья содержит экскурс в историю взаимодействия научного и литературного методов фиксации и отражения социальной реальности, взаимодействия, которое представляет собой маятниковую парадигму процессов дивергенции и конвергенции.

Ключевые слова: филология, лингвистика, бинарность, парадигма, квазиязык, дискурс, литературодетерминированность, социальность, стилистика, литературоцентризм, словесность, знак, символ, образ, метафора, азбука, познание, описательность, герметики, структурализм, парадоксальность.

- О, друг мой, Аркадий Николаевич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво.

И.С. Тургенев. «Отцы и дети»

Прежде чем задаться вопросом, почему эта реплика из проходного, в общем-то, эпизода романа отечественного классика стала, пожалуй, самым общеизвестным фрагментом во всем романном тексте, вспомним, какой такой чрезмерной красотой провинился перед Базаровым его друг Аркадий Николаевич Кирсанов.

«- Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым!»¹.

Налицо наиболее распространенный изобразительный троп — сравнение. На наш взгляд, сравнение стилистически корректное и благомерно сдержанное.

А то, что Аркадий Николаевич выявил в нем не Бог весь какой, но всё же философско-витальный подтекст, свидетельствует опять же в его пользу; прежде всего, о живости ума свидетельствует, ума, склонного одновременно к абстрактно-философскому и художественно-образному мышлению.

Но, несмотря на все это, в ответ — обидный явной несправедливостью вердикт обожаемого товарища, вдвойне обидный тем, что произнесен явно высокомерно-уничижительным тоном:

«- О, друг мой, Аркадий Николаевич! — воскликнул Базаров. — Об одном прошу тебя: не говори красиво.

- Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего её не высказать?

- Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

- Что же прилично? ...»².

Как говорится в подобных случаях, вопрос повис в воздухе. Нет на него и, в принципе, не может быть однозначного ответа. Вот и Тургенев завершает на этом

¹ Тургенев С.И. Отцы и дети. Минск, 1976. С. 111.

² Там же.

месте описание очередной товарищеской пикировки своих персонажей фразой, которой суждено стать крылатой:

«О, друг мой, Аркадий, не говори красиво!».

Отныне именно этим высказыванием в несколько усеченной, по сравнению с авторской, редакции, Евгений Васильевич Базаров продлится вплоть до наших дней. Потому что у миллионов русских и русскоязычных людей, хотя бы элементарно литературно образованных и по роду своей деятельности постоянно испытывающих необходимость публичного высказывания (вербального или письменного), помимо их воли в сознании «сидит» Базаровская реплика, когда они раз за разом по-своему решают для себя в принципе не решаемый Кирсановский вопрос...

На период, к которому относится действие романа «Отцы и дети» (1862), сфера общественной, в том числе и научной, деятельности сохраняла в своей среде немало подобных Аркадию Кирсанову романтиков. Подобные же Евгению Базарову «циничные нигилисты»³ или те, кто взялся примерить эту маску, пребывали в меньшинстве, в качестве еще только «нарождающегося социального типа». Как далее обстояло дело с пропорцией между «лириками и циниками» в российской гуманитарной научной среде, доказательно показать теперь, по меньшей мере, сложно, но то, что многие отечественные обществоведы не отказались в своей практике письменного оформления результатов научного поиска от литературных канонов и традиций, сомневаться не приходится. На них — русских интеллигентах из дворянской и даже разночинной среды — благотворно сказались воспитание литературой. В наибольшей мере это относится к русской социологии.

Автором данной статьи, являющимся сторонником литературоцентричного мировоззрения относительно основных, фундаментальных явлений культуры, вы-

двинута гипотеза о литературодетерминированном генезисе социологии в частности и гуманитарных научных дисциплин в целом⁴. Точнее будет сказать: *в том числе* и литературодетерминированном генезисе. Не станем скрывать, у многих социологов, придерживающихся традиционалистских взглядов на основы своей науки, такое предположение вызвало неприятие. Хотя нечто подобное этому мнению (хотя и не в столь радикальном виде) высказывали их предшественники еще в зачатке становления отечественного социологического знания.

Так на заре становления русской социологии, убежденный сторонник необходимости социологического подхода к литературе В.В. Сиповский (1872-1930) полагал, что писатель всегда, хочет он того или нет, является выразителем того или иного аспекта «общественной жизни» (вопрос, который должно задавать себе литературоведение, заключается в том, какого именно аспекта и почему). Особенно это касается второстепенных писателей, которые «<...> представляют собою литературу как выражение споров общественных масс»⁵.

В. Сиповский справедливо замечает в этой связи, что при отсутствии реальных возможностей конкретно помочь угнетенному самодержавием народу, образованные слои населения, прежде всего — русские интеллигенты — зачастую переносили свое благородное стремление в области писательской и исследовательской деятельности, подчас не очень их разграничивая⁶.

Доктор филологических наук, историк русской социологии Е.И. Кукушкина идет еще дальше, выделяя в зачатке отечественной социологии т.н. «публицистический» период. «Общественную мысль России отличает особое своеобразие по сравнению с социальными теориями Запада, — считает она. — Это проявилось, прежде всего, в том, что в течение длительного времени проблемы обществоведения освещались преимущественно с помощью средств художественной литературы и публицистики (что послужило поводом выделения в истории русской социологии “публицистического” периода). Словесное творчество было той сферой интеллектуальной и духовной жизни, где

³ Этой кличке Е. Базаров, по свидетельству Н.А. Добролюбова, обязан ученому мужу В.В. Берви-Флеровскому (1829-1918). «<...> Зато г. Берви очень остроумно умеет смеяться над скептиками, или, по его выражению, “nihilist’ами”». (Добролюбов Н.А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. II. С. 332.). В свою очередь именно Берви-Флеровского патриарх отечественной социологии академик Г.В. Осипов считает первым русским социологом. «Первые публикации по проблемам социологии и социологических исследований в России относятся к 1860-м гг. Открывает серию этих публикаций конкретное социологическое исследование Василия Васильевича Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования» (1869). (Полвека борьбы и свершений. Материалы Пленарного заседания Всероссийского социологического конгресса 21 октября 2008 г. / под ред. ак. Г.В. Осипова и член-корр. РАН М.К. Горшкова. М., 2010. С. 19).

⁴ См.: Голубицкий Ю. Социология и литературный процесс. Физиологический очерк (1830-1840 гг.) как предтеча русских социологий. М., 2010; Голубицкий Ю. Литературный генезис русской социологии: роль физиологического очерка в становлении социологического знания. М., 2011.

⁵ Сиповский В.В. О сущности литературного влияния // Архив В.В. Сиповского. РО ИРЛИ РАН Ф. 279. № 68. Лист 9.

⁶ Сиповский В. Этапы русской мысли. Пг., 1924. С. 10.

шло активное обсуждение любых философских, политических, морально-этических и социологических проблем. Поэтому пути общественной мысли России, как и судьбы самого общества, его культуры, можно проследить через созданные мастерами словесного творчества художественные образы представителей русской интеллигенции — этой главной носительницы духовного начала»⁷.

Схожего мнения придерживается ряд обществоведов, чье творчество и в наши дни продолжает отечественную традицию.

«Российское обществоведение, — считает С.Г. Кара-Мурза, — в отличие от западного, выросло не из науки, а из русской классической литературы и немецкой романтической философии. В советское время оно было дополнено марксизмом — учением с сильной компонентой романтической философии»⁸. (Насколько в марксизме сильна «романтическая компонента», оставим на усмотрение автора; аргумент заметим: вряд ли найдется в мировой научной литературе в наименьшей мере романтический текст, нежели марксов «Капитал»).

«Вспомним работы Н. Кареева, М. Михайловского, П. Сорокина и большинства других российских социологов, — предлагает другой современный социальный ученый — А.И. Кравченко. — Быть может, они поражают нас математическими расчетами, формализованными построениями или богатством эмпирического материала, полученных при помощи традиционных, описанных в любом учебнике социологических методов? Ничего подобного. Это чисто гуманитарное знание. Таковы же работы титанов русской социальной мысли Н. Бердяева и С. Булгакова»⁹.

В отличие от Европы, породившей, взрастившей, глубоко внедрившей в сознание масс идейные принципы, а затем и традиции Просвещения, сформировавшей, в частности, сциентизм, склонный фетишизировать науку, евразийская Россия, подарив миру замечательную плеяду религиозных мыслителей, в самопознании и познании окружающего ее мира устойчиво предпочитала мистико-религиозный подход. Русское сознание ценило выше научной интерпретации сущего его эмоциональную художественную картину, которую из поколения в поколение создавали, дополняли, уточняли национальные русские гении в области литературы, музыки, жи-

вописи и других видов искусств. Поэтому художник (в широком смысле слова), а не ученый-аналитик оставались и все еще остаются в России властителями дум. Поэтому художественный образ, метафора, а не научная сентенция, которую без специальной подготовки зачастую трудно отличить от наукообразной псевдонаучной демагогии, по-прежнему отражают, объясняют в концентрированном виде нашу социальную реальность.

Впрочем, и среди европейских ученых-гуманитариев, прежде всего, постмодернистского направления, есть сторонники «метафоричности». В частности, свидетельствует петербуржец В.Д. Иванов¹⁰, в качестве идеологической основы нового интеллектуального и эстетического течения в социологии ряд авторитетных исследователей склонны признать «нарочито метафоричные концепции» постмодернистов Ж.-Ф. Лиотара и Ж. Бодрийяра¹¹, которые констатируют «атомизацию» социального в эпоху «расслабленности», провозглашают «конец социального» в период «инертности» и «маланхоличности». Тем самым косвенно признается, что за пределами традиции модерна *метафоричность* выступает в социологии если еще и не составной частью стилистики исследований, то, по крайней мере, протоэлементом нарождающейся лексики, фиксирующей результаты этих исследований. Так, разноязыкие интеллектуалы европейской традиции охотно используют при общении между собой в качестве своеобразного эсперанто по принципу подобия *метафоричность* древнегреческой мифологии.

К метафоре в своих исследованиях охотно прибегает и один из основоположников структуральной лингвистики Р. Барт. Вот свидетельствующий об этом отрывок из его работы «Гул языка»: «<...> язык обращается в гул и всецело вверяется означающему, не выходя в то же время за пределы осмысленности: смысл маячит в отдалении нераздельным и неизреченным миражем, образуя задний «фон» звукового пейзажа»¹².

Социология, как всякая научная дисциплина, уже на начальном этапе становления должна была определить ряд основополагающих моментов своего дальнейшего развития. В частности, ответить на вопрос, каким станет ее язык, *стилистика изложения материала*, полученного в ходе исследований, или хотя

⁷ Кукушкина Е.И. Русская социология XIX – начала XX века. М., 1993. С. 7.

⁸ Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. М., 2011. С. 5.

⁹ Кравченко А.И. Социология мнений и мнение о социологии // СОЦИС. 1992. № 3. С. 48.

¹⁰ Иванов В.Д. Виртуализация общества. СПб, 2000. С. 16.

¹¹ Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1984. P. 76; Baudrillard J. In the shadow of the silent majorities or The end of the social and other essays. New York: Seabury, 1983.

¹² Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 543.

бы обозначить основополагающие принцип и вектор развития этих важнейших информационно-коммуникативных компонент.

Та же задача с неизбежностью возникала и при становлении и институционализации обществоведения, политологии и других гуманитарных социальных научных дисциплин новейших времен.

Решение этого вопроса в Российской Империи, а затем и СССР во многом определялось тем, что культура нашей страны буквально до недавних пор оставалась литературоцентричной, и достойное знание мировой и отечественной литературы было для образованных русских (советских) людей делом само собой разумеющимся. А где глубокое знание, там и уважение, естественно возникающее желание подражать высоким образцам. Будь то частный разговор, эпистолярное общение, публичная дискуссия, выступление с трибуны, дневниковые записи, изложение (устное или письменное) научных выводов и т.д.

Способствовало «олитературиванию» русской социологии в частности и русского обществоведения в целом и то обстоятельство, что период бурного развития гуманитарных наук совпал с «серебряным веком» в русской культуре, справедливо считающимся расцветом отечественной изящной словесности.

Способствовал влиянию литературы на социологию также, казалось бы, далекий от темы факт причастности ряда отцов-основателей социологии (М.М. Ковалевский, Е.В. де-Роберти, П.А. Сорокин) масонскому движению.

Исследователя этого весьма деликатного обстоятельства — принадлежности классиков русской социологии к ордену вольных каменщиков — В.В. Сапова, по его собственному признанию, интересует, прежде всего, *идейное влияние* учения масонов на русских социологов, в первую очередь, на П.А. Сорокина¹³.

Для нас же причастность к масонству указанных выше персоналий является еще одним подтверждением их вовлеченности в литературную стихию. Истинный масон не может ни быть романтическим мистиком. Даже если он и не поэт, не создатель беллетристических текстов, то, по крайней мере, их почитатель. Масонство с неизбежностью причащает посвященных в таинства Ордена воспринимать знак, символ, образ, метафору, как азбуку познания, следовательно, как полноправный и непреходящий элемент языка фиксации научных практик. А ведь именно этот ряд: знак — символ — образ — метафора является также алфавитом, «строительным материалом» литературы. Следовательно, и в риту-

альных подземельях первых русских масонских лож сталкиваются, причудливо переплетаются социология и литература, чтобы впоследствии при дневном свете исследования социума создать из исходных материалов язык и стилистику описаний, фиксирующих социологические научные открытия.

Н.К. Михайловский еще на заре социологии приметил, что существует определенный закон в функционировании слова как смысловой лексической единицы. Он состоит в том, что постоянно проявляется несоответствие между понятием и тем словом, которым оно выражается: «К известному понятию приросло известное слово. Понятие расширяется, расслаивается, сдвигается сообразно историческому ходу отношений человека к соответствующему ряду фактов, а слово стоит себе, как скала незыблемая. Таким путем слово весьма часто не только утрачивает первоначальное значение, но получает два или несколько различных значений или даже лишается всякого значения. Язык человека поневоле становится врагом его, обманывая его на каждом шагу, не поддаваясь его усилиям восстановить равновесие между состоянием его сознания и известным сочетанием звуков»¹⁴.

Проходят годы, десятилетия, но обозначенная Михайловским проблема лишь все более обостряется и радикализируется. О непреходящей актуальности проблемы языковой передачи явлений социального мира свидетельствует постоянное обращение к этой тематике ведущих отечественных ученых¹⁵.

Наконец, неразрывной, казалось бы, пуповиной, связывающей литературу и обществоведение, является общий базисный элемент, гносеологически единая основа научного и художественного отражения реальности — *описательность*, как не просто основная, но *единственная* форма фиксации этой реальности. «То, что описание фактов играет первую (по крайней мере, во времени) роль в науке, спорить об этом не приходится, — заключает выдающийся отечественный языковед А.Ф. Лосев. — Прежде чем что-нибудь объяснять, надо знать те факты, которые мы хотим объяснять, а знание фактов возникает только в связи с их элементарным описанием»¹⁶.

¹⁴ Михайловский Н.К. Полн. собр. соч.: в X т. СПб, 1909. Т. I. С. 756.

¹⁵ См.: Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические размышления о сознании, символическом и языке; Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1982; Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 5.

¹⁶ Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей // Ученые записки Мос. гос. пед. института им. В.И. Ленина № 307. М., 1968. С. 64.

¹³ Сапов В.В. В начале «длинного пути» // Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. М., 2006. С. 10-11.

При этом следует иметь в виду, что описательность (общий для литературы и науки — социальной науки в нашем случае — метод) в данном контексте понимается нами не только как *форма изложения* организованных в сюжет фактов, но и как всегда промежуточный итог перманентного противостояния составляющих дихотомии «замысел-результат».

По характеристике П. Бурдье, данной им при рассмотрении особенностей письменного творчества в социологии, «Письменная речь (как воплощенная описательность — Ю.Г.) — это странный продукт, который создается в подлинной конфронтации между тем, кто пишет и тем, “что он хочет сказать” в стороне от всякого непосредственного опыта социальной связи, а также в стороне от принуждений и побуждений непосредственно ощущаемого заказа, что проявляется во всякого рода признаках сопротивления или одобрения». П. Бурдье останавливается также на роли литературных приемов: «Забота о том, чтобы дать почувствовать или дать понять, вызванная непосредственным присутствием внимательного слушателя <...> подталкивает на поиск метафор и аналогий, которые, если сумеешь оговорить их ограничения на момент использования, позволяют дать первое интуитивное приближение к наиболее сложным моделям и, таким образом, подвести к более строгому представлению»¹⁷.

В этом высказывании одного из самых современно мыслящих, революционно настроенных к предмету социологии ученых содержится не только попытка объяснить феномен письменной речи, но и проявить внутреннюю противоречивость психологии людского общения. Ведь в процессе этого общения зачастую трудно сказать что преобладает: желание высказаться с максимальной откровенностью или, напротив, спрятать за частоколом письменных (речевых) конструкций истинное отношение к предмету или явлению высказывания. Недаром ведь в различных языках утвердилось схожая по смыслу пословица, которая в русском языке звучит так: «Язык мой — враг мой». «Язык» в данном контексте обозначает комплекс избыточной, чрезмерной информированности слушателя-читателя о предмете устного или языкового общения. Чаще всего в качестве этого «предмета общения» выступает сам повествователь, его далеко не бесспорное мнение на обсуждаемый вопрос, а то и подробности биографии, которые лучше было бы не разглашать. Из этого следует, что информационная сдержанность, выгодное информатору сокрытие правды, а то и заведомая трансформация этой относительной «правды» в такой

«товарный» вид, который будет наилучшим образом воспринят потребителем информации, есть ни что иное, как благо.

Казалось бы, парадокс, но разве вся история человечества ни есть история сокрытий и различного рода искажений реальности? Разве вербальная форма общения, которую определил людям Создатель или, по иной, атеистической версии, человек обрел в ходе эволюции, ни предполагает изначальное сокрытие нежелательной правды, замены ее на ту дозированную и профильтрованную информацию, которая выгодна высказывающему субъекту? Почему развивая и совершенствуя язык, основанную на нем речь, формы письменной фиксации речи и мысли, мы одновременно заблокировали в себе куда как более эффективную для общения способность к телепатии, т.е. непосредственному, напрямую прочтению мысли, оставив эти уникальные телепатические способности лишь немногим избранным, коих большинство из нас воспринимает юродивыми, «чокнутыми»? Ответ, на наш взгляд, очевиден: узнав реальные мысли находящих рядом людей, их истинное отношение к окружающим, человек содрогнулся бы и предпочел уединение. Бытийный социальный мир с неизбежностью был бы разрушен, что повернуло бы историю человечества вспять. Вот к каким трагическим последствиям способна привести несовершенное человечество, казалось бы, чудесная, а на самом деле деструктивная доступность познавать мир не через словесные и письменные эскапады, а напрямую, посредством считывания чужих мыслей¹⁸...

И все равно еще многим из нас достаточно совсем немного отойти от вульгарного материализма, чтобы обнаружить в себе способность воспринимать в качестве строительного материала и орудий строительства не только чертеж, камни, тес, приспособления и машинерию, но и энергию мысли, реализуемую посредством изреченного и написанного слова. Того самого Слова, которое и явилось первоосновой всего сущего, указанием на которое начинается Святое Благовествование (Евангелие) от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1.1.).

Так отчего же системе таких животворящих слов ни стать *социальной институцией*? Другое дело,

¹⁷ Там же. С. 6.

¹⁸ Ближайшие по времени исследования феномена телепатии позволяют сделать вывод о социальной природе физиологических механизмов, блокирующих ее в психике человека. Оказывается, чем моложе человек, тем более проявлены в его психике телепатические возможности, которые затем, с возрастом, словно «отмирают» в качестве социально опасного атавизма.

действительно, «Нам не дано предугадать, // Чем наше слово отзовется» (Тютчев), ибо, порожденные не своей волей и творим мы не только волей собственной.

Впрочем, было бы, по меньшей мере, самонадеянно отождествлять себя, пусть и таким опосредованным образом, с Создателем Слова. «Слово Бога — это первичное, производящее, творческое Слово, слово же человека — это вторичное воспроизводящее слово. И это совпадает с данными современной психолингвистики, согласно которым в филогенезе, и в онтогенезе появлению слова предшествовал указательный жест и визуальный образ, — напоминает один из самых ярких отечественных философов современности Владимир Мартынов, чьи оригинальные суждения о скором закате вербальной цивилизации заслуживают самого пристального к себе внимания. — Слово Бога и слово человека обладают совершенно разными, возможно, даже несводимыми друг к другу природами, и природе божественного слова, скорее всего, невозможно познать при помощи слов человека. Тем не менее, сама эта невозможность может быть осознана только на словесном уровне, то есть реальность этой невозможности мы можем увидеть только в зеркале слова, и, таким образом, мы снова приходим к выводу, что от слова нем никуда не деться»¹⁹.

Особенность восприятия слова человеком, выражаемая в его зачастую неосознанном стремлении сбалансировать, гармонизировать свои разноректорные побуждения в отношении слова, «осознать — преодолеть» его смысловой дуализма, а то и поливалентность, заслуживает отдельного исследования. Здесь и сейчас нам **важно признать процесс преобразования идеального в материальное, мысли в материю.** Именно процесс как последовательность явленных результатов, ибо сам механизм никогда не будет открыт нашему слабому сознанию. Да оно и не нужно. Куда нам с таким знанием? Разве что в собственный сон, в субъективные идеалисты...

«Не помню сейчас, какой ученый сухарь родил ту «бессмертную» идею, что в храме исторической науки эстетике делать нечего», — с сарказмом заметил еще Ф. Меринг²⁰. Ученый, эссеист из более поздних времен С. Эпштейн, рассуждая на близкую нам тему, задается, фактически, риторическими вопросами: «Неужели сухость, трудная форма изложения, через которую читатель должен продираться к содержанию, — непременный спутник учености? Разве научная книга не должна увлекать? Разве читатель, «входящий в науку», должен заранее оставить надежду на всякие эмоции и

приготовиться к преодолению в поте лица языковых и им подобных барьеров?»²¹.

Вопросы, как и вопрос Аркадия Кирсанова из зачина нашей статьи, действительно риторические. Но если вдруг мы решимся назвать одного из «ученых сухарей» и укажем на Евгения Базарова, так ли уж мы будем не правы?...

Более радикально относительно взаимодействия научного и эстетического (художественного) подходов к материалу исследования высказался Б. Брехт, утверждавший, что «сегодня возможно создать даже эстетику точных наук»²².

«Эстетика точных наук» по нынешним временам, это, пожалуй, милая маниловщина, но «подтянуть» к уровню пристойного литературного текста усредненный научный текст не просто возможно, но и нужно. И то, сколько еще «продираться»?...

Печальному состоянию т.н. «научного языка» гуманитарных дисциплин есть ряд вполне логичных объяснений.

Во-первых, в период между XIX и XX вв. в российскую гуманитарную науку устремился поток молодых людей из разночинной среды, у коих, в большинстве своем, по определению не могло быть такой же фундаментальной и — что особенно важно! — *наследственной* литературной подготовки, как у большинства их предшественников. Они просто были не в состоянии излагать мысли столь же изящно, а зачастую и элементарно грамотно, как их коллеги-дворяне, выросшие, набравшие багаж знаний, воспитавшие чувства в благой тиши столичных и поместных библиотек, собирать которые начали еще их прадедушки.

Во-вторых, сами обстоятельства становления отечественной социальной науки не способствовали активному ее развитию и совершенствованию ее языка и стилистики. Так на период становления социологии, а затем и политологии, уже сложился корпус из большинства общественных научных дисциплин, и нарождающимся наукам во многом приходилось раздвигать устоявшиеся междисциплинарные границы, чтобы найти свое место, на что уходило неоправданно много сил и времени.

В-третьих, в определенной мере продолжалось в большинстве случаев неосознанное соперничество социологического научного метода и литературного описания социума. Тем более, что и русская литература того же периода активно осваивала социальную проблематику. И, как правило, достигала

¹⁹ Мартынов В. Время Алисы. М., 2010. с. 23.

²⁰ Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957. С. 27.

²¹ Эпштейн С. Ученые приказчики капитала // Новый мир. 1965. № 6. с. 274-275.

²² Брехт Б. Театр. Собр. соч. в 5-и тт. М., 1965. Т. 2. С. 175.

более впечатляющих результатов, нежели совокупная наука о социуме. «У художника Горького, у покойного художника Успенского может многому научиться самый ученый социолог»²³. Высказывание это принадлежит не литератору, а традиционному «кабинетному» ученому, отечественному философу-обществоведо Г.В. Плеханову. При этом, как видим, и он склонен считать в качестве ведущего в тандеме «исследователь — художник» не профессионально близкого ему ученого, а «художника», в нашем контексте — литератора.

Смеем предположить, что большинству социологов и иных социальных мыслителей, активно действовавших в науке еще на рубеже XIX-XX вв., хотелось не столько учиться у общепризнанных «властителей дум» — литераторов, как самим поучать общество. Со временем желание это не просто крепло, становилось доминирующим в сообществе.

В такой ситуации самое простое и весьма эффективное средство размежевания: максимально возможное изменение лексико-стилистической формы изложения. Поэтому русские социологи «второй волны», действуя под лозунгом избавления от «литературщины», решительно отмежевывались не только от писателей и очеркистов физиологического (социологического) направления, но и от своих предшественников из «первой волны», которые были прочно связаны с отечественной литературой, не представляли язык, лексику, стилистику своих социологических трудов вне ее благородных традиций. По сути, предпринималась попытка выделить в поле (по Бурдэ), дискурсе (по Барту) русского общенационального языка некий квазиязык, носители которого, как самопровозглашенная каста, продолжают в современных формах социальных практик линию жрецов тайного знания — герметиков.

Неявный результат такого рода лингвистического размежевания в ситуации постмодерна уловил и описал Р. Барт. Применяя структуральную технологию лингвистического анализа, Р. Барт на едином коммуникативном фоне — фоне национального языка — выделяет два дискурса: *энкратический* язык и *акратический* язык. Если 1-й тип, по его мнению — это язык быта и массовой культуры, то 2-й — «<...> резко обособлен, отделен от доксы (то есть *парадоксален*); присущая ему энергия разрыва порождена его системностью, он зиждется на мысли, в не идеологии»²⁴.

²³ Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. V. М., 1958. С. 527.

²⁴ Барт Р. Война языков // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 537.

Смеем утверждать, что речь в работе Р. Барта все-таки не идет о двух языках как таковых. И второй дискурс не есть интересующий нас научный язык, несмотря на то, что «он зиждется на мысли». Но это не означает, что выделение «научного языка» в самостоятельную коммуникативную форму невозможно в принципе. Описанный Бартом лингвистический феномен в силу бинарности основных составляющих элементов пребывает в динамическом равновесии, которое, как известно, склонно к подвижкам по вектору дальнейшей фрагментации, следовательно, есть предпосылки и для более проявленного выделения из существующего лингвистического протопространства некоего языкового подвида, который можно будет определить как язык научных исследований. Если процесс этот — не обреченное на самоуничтожение периферийное явление, не некий дивертикул развития, заканчивающийся тупиком, как представляется нам, а следствие проявления «генетического кода» языка, остановить его не удастся, да и нужно ли противиться в таком случае фатальной предопределенности? Ведь распад — всегда предпосылка к новому, более совершенному и гармоничному синтезу, в нашем случае — к дивергенции информативных и художественных компонент в языке и стилистике исследовательских текстов.

Принцип научности по определению не константен и в существенной мере отражает степень суммарной интенции научного сообщества, развития науки, парадигму ее трансформаций и т.д. Платон считал исследование научным, если оно точно воспроизводит объект, имперсонально, обладает устойчивостью и непреходящей ценностью²⁵. Понятно, что эта Платонова триада критериев, применительно к современной гуманитарной науке, недостаточна. Тем более что эти критерии (за исключением имперсональности) вполне характеризуют также объекты культуры и искусства реалистического направления.

В отношении гуманитарных наук ныне просматривается тенденция к квантификации — сведению качественных характеристик к количественным для последующего этапа — измерения, т.е. придания результату численного значения. Наблюдаемое сейчас повсеместно «оцифровывание» текста и изображения для удобства манипулирования и последующего надежного и компактного архивирования — один из наиболее доступных примеров такого рода. «Родилась сентенция, что в науке столько научного, сколько вы-

²⁵ Платон. Соч. в 3-х тт. М., 1968. Т. I. С. 407, 408, 417.

разимого средствами математики», — справедливо считает В.В. Ильин²⁶.

Дискурс на математизацию отчетливо различим в отечественной социологии. Так в Институте социально-политических исследований РАН в последнее время подготовлены и изданы фундаментальные работы по разработке формализованных индексов и показателей, призванных существенно уточнить пока еще доминирующую статистику²⁷. А как выразить математическими формулами такие базовые индикаторы как уровень «удовлетворенности жизнью» (life satisfaction) и «благополучия» (wellbeing)? Вряд ли удастся сделать это в должной мере доказательно, применяя лишь математическое моделирование сложных систем пусть и с привлечением «математической психологии».

Убеждены, литературная *описательность* не только закрепится в виде устоявшихся форм изложения научных исследований: социологических, политологических, философских и т.д. *этюдах, эссе, публицистике*, но и продолжит начавшийся в «оттепельные» 60-е тренд на конвергенцию с «научными» формами фиксации, выраженными в настоящее время. Как следствие — более высокая степень совершенства конечного результата по отношению к каждому из составляющих. Предположение наше не противоречит возобладавшей тенденции теоретического плюрализма в форме мультипарадигмальности, когда принцип кумулятивизма научного знания замещается принципом пролиферации — безграничного умножения теорий, нередуцируемых одна к другой...

Но это — будущее. Пока же вернемся в настоящее, к заковыченному «научному языку»...

Старшекурсников гуманитарных вузов, не говоря об аспирантах, вузовские наставники в своем большинстве настойчиво призывают пользоваться «научным языком». По большому счету — несуществующим инструментом! Поэтому в данной статье, рассуждая о «научном языке», мы, в основном, пользуемся кавычками, а под самим исследуемым понятием — «научный язык» — подразумеваем разную степень отклонения от норм и традиций языка литературного.

²⁶ Ильин В.В. К вопросу о критериях научности знания // Вопросы философии. 1986. № 11. С. 64.

²⁷ Попова С.М., Шахрай С.М., Яник А.А. Измерения прогресса. М., 2010; Знание: собственность, и власть. Хрестоматия / Научн. ред. ак. РАН В.А. Садовничий. М., 2010; Осипов Г.В. Измерение социальной реальности (показатели и индикаторы). М., 2011.

Какого-либо зафиксированного свода правил «научного языка» нет, но эмпирически сложился лексико-стилистический комплекс языковой фиксации результатов исследовательских усилий ученых-обществоведов, действительно серьезно разнящийся от бытового общеупотребимого, тем более — литературного языка. К нему можно отнести:

1. *Описательное перечисление*

Пожалуй, это «фирменная» метка «научного языка». Заключена она в особой форме перечислений качественных признаков, относящихся к единому для всех их понятию. Отообразим вышесказанное в виде формулы:

A: f - B; f — V; f — G и — далее, где A — базовое понятие, F — знак абзаца, B, V, G и — далее, ряд качественных признаков, относящихся к A.

Пример:

К важнейшим из признаков физиологического очерка относятся:

- отсутствие сюжета в традиционном понимании термина;
- принцип локализации действия;
- использование статистически точных сведений при описаниях местности, времени действия, персонажей;
- отношение к воспитанию, образованию, жизненным условиям героев как к основным их характеристикам;
- повышенное внимание к характеристике социальных типов и среды;
- изображение жизни в социальном «разрезе»;
- еткая тенденция к типизации изображаемого явления, стремление создать образы-типы.

В иных случаях конструкция эта располагается в строку, отчего результат экономит площадь, но теряет в наглядности.

С лингвистической точки зрения мы имеем дело со сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями. Анализируя такого рода тип предложений, педагог-лингвист П.С. Пустовалов предупреждает о том, что «<...>разнообразие структурных типов сложного предложения, влияние различных речевых стилей часто служат источником появления ошибок в структуре сложных предложений». Далее он указывает как на типические ошибки в неверном построении сложного предложения и на «смещение конструкции»; и на «использование однозначных с вводным словом союзов»; и на «нарушение порядка слов в сложном

предложении, порождающую неясность к какому слову относится то или иное определение»²⁸.

Добавим от себя, что в любом случае при использовании такой конструкции велика опасность потери управления из-за ошибки в падежном склонении. В случае громоздких перечислительных периодов (более чем на страницу текста), как правило, скромно оснащённому филологическими знаниями ученому-обществоведоу практически невозможно избежать нескольких падежных ошибок, отчего текст становится своеобразным кроссвордом, в котором читатель для того, чтобы двигаться далее по повествовательной канве, вынужден останавливаться и восстанавливать потерянные смыслы

2. *Необоснованный максимализм утверждений*

К признакам подобного рода «научности» следует отнести, в принципе, антинаучные фигуры утверждений типа: «как считают ученые...», «все данные исследований свидетельствуют...» и т.п.

В здоровой научной среде ученые мыслят, т.е. — «считают» всегда по-разному. Только обмен различных мнений и может породить ту интеллектуальную атмосферу, в которой возможна кристаллизация и оформление новых научных идей. Из этого следует, что ситуация, когда бы *все* научные данные свидетельствовали бы одно и то же, просто невозможна. Так отчего же работы современных ученых-обществоведов изобилуют использованием слов «все», «всё» и производными от них?

Нам представляется, что в этом подспудно проявляется желание не очень-то уверенного в правоте своих выводов автора оградить свои заметки от полемики; куда оппоненту всунуться со своими злосчастными общими и частными возражениями, когда исследовательское пространство уже покрыто безапелляционным «ВСЕ» и «ВСЁ», подкреплено ссылкой на поддержку некоего анонимного научного сообщества?

Но ведь никогда никакая наука не давала окончательного результата, никогда не исчерпывала все возможности и смыслы, методы и технологии исследуемой темы. Посему слово «всё» в описании исследовательского процесса, на наш взгляд, должно стать крайне редко употребляемым и использоваться лишь в тех случаях, когда действительно имеет место исчерпанность количественного счета или процесса как такового.

3. *Отказ от использования литературных приемов*

К крамольной «литературщине» чохом отнесены не только литературные тропы (сравнение, метафора и т.д.), но и вводные, пояснительные слова, которые, по мнению ортодоксов от гуманитарных наук, привносят в научный текст нежелательную субъективность. (Как будто в принципе возможен объективный авторский текст!).

Вместе с тем, авторитетнейший отечественный языковед А.Ф. Лосев призывал с пиететом относиться к второстепенным членам предложения, в частности, наречиям, большинство из которых, по его мнению, уже давно потеряло свой нейтральный смысл или функционирует в языке вполне модально. Рассматривая язык как поток сознания, А.Ф. Лосев писал: «Будучи вставлены в предложение, они определенным образом окрашивают смысл этого предложения и определяют собой известным образом функционирующий поток сознания в тех или иных языковых пределах». Разве научному исследованию повредит точно и модально отраженная в тексте фиксация смысла открытия или гипотезы?

В практике в гуманитарных науках вымарываются соединительные предложения, ну, а о том, чтобы к новой главе или параграфу специально написать пару вводных абзацев, что на ТВ довольно точно называется «подводкой», а в среде «бумажных» журналистов носит названия «боевик» или «врезка», об этом в большинстве случаев, особенно начинающему молодому ученому, не стоит и думать.

4. *Использование избыточных определений*

Пример: «Подвергнуто исследованию».

На самом деле достаточен один глагол прошедшего времени страдательного наклонения — «исследовано». Слово «подвергнуто» в содержательном плане ничего не добавляет, разве что сомнительной «значимости». Но такая фальшивая «значимость», по мнению многих современных ученых, и отличает лексику научных текстов от «обычного» языка, сообщает ей корпоративную «особость» и даже всегда столь желаемую пользователям «избранность». Потому и составляет она существенный массив лексических искажений научных (псевдонаучных) публикаций.

Однако, в использовании избыточных определений не все так просто и однозначно, как может показаться по первому приближению.

Пример: «благодаря применению достижений социальных наук».

²⁸ Пустовалов П.С. Стилистическое использование сложных предложений // Литературная учеба. 2009. № 4. С. 90.

Казалось бы, слово «применению» явно лишнее в данной письменной конструкции. «Благодаря достижениям социальных наук» звучит четче и ритмичней, да и смысл при такой редактуре сохраняется неизменным. *Сохраняется ли?...*

В отредактированной строке он поддерживается местоимением «благодаря». В строке до редактury — глаголом «применению». Глагол всегда более энергичен и конкретен, он пульс и эмоциональный настрой письменной и вербальной речи. Недаром ведь А.С. Пушкин глаголом призывал жечь (воодушевлять) сердца людей. В свете вышесказанного, приходится признать, что строка до редактury была по смыслу более точной, хотя и теряла по отношению к отредактированной в литературной изящности. Но что важнее: максимальная точность или литературная норма? В данном случае — максимальная точность; речь-то ведь идет о науке, где точность — основополагающее требование к любому исследованию, качество, к которому научный текст постоянно стремится.

5. *Чрезмерность эгологизмов*

Пример: «Проблема наркомании и алкоголизма имеет высокую степень *тревожности* (курсив мой — Ю.Г.) в средней возрастной группе (30-50 лет) и у учащейся молодежи (14-29 лет)».

Ни один из ныне существующих словарей русского языка не фиксирует определения «тревожность» как производного от общеупотребимого «тревога». Равно как нет в словарных пометах взятых нами из других научных текстов эгологизмов: «результировались» (вылились в результат), «догматизация» (подверженное «догме»), «шкалирование» (составление шкалы каких-то показателей) и т.д. В словарях нет, а в текстах исследований они присутствуют с избытком!

Надо признать, что смысл большинства таких словесных однокоренных новообразований понятен даже малоискушенному читателю, ибо в его основе — как в вышеприведенном случае — общеупотребимое слово.

6. Необоснованное использование кавычек, словно автору невдомек, что кавычки, за исключением цитирования и прямого выделения отдельных слов и словосочетаний, сообщают заключенному в них слову противоположный смысл.

Хотя и тут ученого зачастую можно понять: не удовлетворенный не прямым, не противоположным

смыслом слова, он ищет промежуточную позицию в смысловой дихотомии, а средств для этого язык ему не предоставляет, прежде всего, по причине недостаточной развитости лексического словаря. В таком случае автор вынужденно указывает читателю кавычками на непрямой смысл использованного им слова или повествовательной конструкции, надеясь, что при помощи своей языковой интуиции, умения извлекать правильный смысл из контекста, тот найдет выраженному словом смыслу правильное место в дихотомическом переходе.

С похожей проблемой столкнулся ряд музыкальных сочинителей на рубеже XIX-XX вв., когда традиционные гармонии доминирующего в европейской музыке мажорно-минорного лада оказались тесны для их творческого самовыражения, не соответствовали, по их мнению, философии, языку, стилистике искусства нового времени. Как результат — появление и стремительное развитие додекафонии (атональной, 12-титоновой, «серийной») системы.

Язык вербального и письменного общения в значительной мере более консервативен и непластичен, чем музыка, следовательно, ожидать подобной революции в нем не приходится.

7. *Сомнительное использование терминов*

Проблема сложная и давняя. По сути, это ряд проблем, причудливо переплетенных и образовавших немало гордиевых узлов.

Пример: «Парето начал свой анализ с введения доктрины максимальной удовлетворенности и ввел термин “офелимитность”, обозначающий экономический аспект удовлетворенности, в отличие от более широкого социологического понятия “полезность”. *Офелимитность* можно рассматривать только дистрибутивно (распределительно), как агрегат удовлетворенности индивидуальных действующих личностей в системе».

Показательно, что в данном периоде разъяснены оба термина: относительно новый авторства Парето — «офелимитность», и уже в достаточной мере устоявшийся — «дистрибутивно». Более ни менее удовлетворительное объяснение таких действий автора: оригинальный термин — для специалиста, русский «перевод» — для дилетанта.

Но разве научный текст предполагает в читателях дилетанта? И что мешает отечественной гуманитарной науке создать свой, базирующийся на русском языке,

корпус терминов и определений и активно использовать его?

Мешает историческая традиция. Попытка ряда русских лингвистов и писателей конца XVIII и XIX вв., разделявших славянофильские идеи (С.Т. Аксаков, В.И. Даль, А.С. Шишков и др.) найти заимствованным из иностранных языков назывным определениям русскоязычный аналог, оказалась несостоятельной. Кто сейчас знает, что «переклитка» А. Шишкова — это ни кто иной, как «попугай»(!)? Результаты попыток подобного рода замены канули в Лету. Пожалуй, лишь «мокроступы» В. Даля, которыми он в языке предлагал заменить «калоши», в какой-то мере еще остаются известны читающей публике. И то из-за того, что со временем обрели статус «односложного предложения»²⁹ и воспринимаются теперь словесной эмблемой замшелости, отсталости, консерватизма мышления, метафорической насмешкой над носителями вышеперечисленных малопочтенных качеств³⁰. «Слово “мокроступы” очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом “галоши”; но ведь не насильно же заставить целый народ вместо “галоши” говорить “мокроступы”, если он этого не хочет»³¹. Этим высказыванием ведущий отечественный критик, по сути, подвел черту под достаточно продолжительной и эмоциональной дискуссией об иностранных заимствованиях в русском языке³².

²⁹ См.: главу «Жанр односложия» // в кн. Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004.

³⁰ Так, опубликованная 24 октября 2011 г. в Internet-еженедельнике «Секрет» статья о коммунистическом ортодоксе М.А. Суслове ёрнически озаглавлена: «Михаил Суслов и его мокроступы». (Тельман И. Михаил Суслов и его мокроступы // «Секрет» - velelens.livejournal.com).

³¹ Белинский В.Г. Сто русских литераторов // Собр. соч. в IX т. М., 1979. Т. IV. С. 70.

³² Публичная дискуссия давно завершена, но до сих пор продолжается начатое русскими славянофилами подобного рода словотворчество. В основном, как своеобразная интеллектуально-лингвистическая игра на поле Internet. «Игроки» предлагают все новые и новые замены, отвечающие реалиям современности. Так «телефон» предлагается заменить на «звуковод», «калькулятор» - на «считальник», «атмосферу», - на «колозмицу».

Иное дело исландский язык, который считается одним из наиболее консервативных и даже архаичных в мировом сообществе. До сих пор значительная часть исландцев тщатся называть новые предметы и явления, не употребляя иностранных заимствований, а комбинируя укорененные слова родного языка. И тогда «мотороллер» превращается в «трещашую гадину», «танк» (боевая машина) – в «ползучего дракона» и т.п.

Мешает опасная недостаточность процесса словообразования в русском языке, который является основным источником пополнения его лексического состава.

Если проследить на протяжении минувшего XX в. процесс этот, то итоги удручают неожиданно. Все словари русского языка советского периода в совокупности фиксируют 125 тыс. слов. При этом 70 лет советской власти не только не прирастили лексики, но и убавили её, ведь в дореволюционном словаре В. Даля зафиксировано 200 тыс. слов! «С русским языком происходит примерно то же, что и с населением. Население России вдвое меньше того, каковым оно должно было стать к концу XX в. по демографическим подсчетам его начала. И дело не только в убытке населения, но и в недороде»³³.

Как это не печально признавать, но нас обошли англичане (в современном английском языке насчитывается, примерно, 750 тыс. лексических единиц), и немцы (от 185 тыс. до 300 тыс.). Поэтому нет ничего удивительного, что поток заимствований из этих и других динамично развивающихся языков в русский язык только возрастает.

В научных дисциплинах, как естественных, так и гуманитарных, в большей мере исследуются *процессы*. Те или иные явления, проистекающие во времени и имеющие различные стадии и фазы. Оттого по мере развития (и усложнения) самого научного исследовательского процесса в терминологической совокупности наблюдается уменьшение терминов, выраженных назывным подлежащим, и возрастает количество и роль глаголов и отглагольных существительных³⁴. Однако недостаточная развитость *временной структуры русских глаголов* серьезно препятствует этому. Оттого, в частности, в терминологическом корпусе русского языка так много терминов-пояснений, состоящих из двух и более слов, и относительно немного назывных односложных.

³³ Эпштейн М. Русский язык в свете творческой филологии // Знамя. 2006. № 1. С. 194.

³⁴ Феноменологию и тенденцию усиления научно-исследовательского интереса не столько к тварному, как к ментальному миру вещей и идей еще на заре прошедшего века выявил Бертран Рассел. Выявил, как философ, а как Нобелевский лауреат в области литературы предвосхитил способ текстового отражения этих сущностей. «Судя по всему, все наше априорное знание имеет дело с сущностями, которые, собственно говоря, не существуют ни в ментальном, ни в физическом мире. Эти сущности таковы, что могут быть поименованы частями речи, не являющимися существительными (курсив мой – Ю.Г.)». (Рассел Бертран. Проблемы философии. Новосибирск, 2001. С. 61).

Прежде всего, это относится к отсутствию т.н. «инговой» или сходной с ней формы глаголов, вследствие чего и появляются на свет никаким правилам не соответствующие, но главное — не жизнестойкие мутанты типа «банкинг», когда вошедшее в устойчивую лексику русского языка слово «банк» (как расчетно-кредитное учреждение) калькируется по иноязычным правилам. Нельзя, но хочется, а коль уж очень хочется, то (по понятиям нашего нынешнего анархического времени) — можно...

8. *Стилистическая демагогия*

Наибольшее распространение это явление получило в политологии советского периода, однако, и нынешние либеральные времена не спешат отказаться от этого приема в пользу максимальной объективности изложения.

Пример: Отец в 1938 году был репрессирован, и только через три года мать по подсказке знающих его людей нашла его в Оренбургской области, рядом с ним и осталась, работала на железной дороге укладчицей шпал. В конце войны родителям с детьми удалось вернуться в Киев.

Какое чувство возникает у читателя по прочтении этого отрывка? Бесспорно: жалости к людям, которые поименованы в нем отцом и матерью. Отец — репрессирован сталинским режимом, мать вынуждена трудиться укладчицей шпал. Проклятый режим, бесчеловечные сатрапы!

Но взглянем на описанную ситуацию с иного ракурса. Репрессированный (за что, как чаще всего, в подобных текстах неясно) отец освобожден — крайний срок — в течение трех лет и пребывает в Оренбургской области. Поскольку отсутствует важное для нагнетания негативного отношения к власти указание на принудительную ссылку, вполне можно предположить, что после освобождения оказался он там по собственной воле. На это же указывает и то обстоятельство, что жена (мать по тексту) имеет возможность поселиться с ним рядом; с лагерником, ссыльным поселенцем рядом не поселишься.

Работала на железной дороге укладчицей шпал.

Не стоит забывать, что на дворе — 1941-й год, наверное, самый тяжелый и драматический для страны год кровопролитнейшей войны! И кровопролитие это происходит, как известно, не в Оренбуржье. Здесь, в глубоком тылу, наверняка, голодно, холодно, тревога терзает душу, но... здесь не фронт, пожирающий ежедневно тысячи людских жизней... Кем заменить в

тыловых работах ушедших на фронт мужчин? Кроме женщин — некем... Кстати, а кем трудится муж нашей героини? Надеемся, не учетчиком на укладке все тех же шпал.

В конце войны родителям с детьми удалось вернуться в Киев.

«Удалось» в данном контексте — сомнительное слово, ведь нет никаких указаний на множественность попыток семьи вернуться в родные пенаты, на чинимые от властей препятствия к возвращению. А то, что выжили и смогли вернуться не только взрослые, но и дети, свидетельствует, что не такая уж беспросветная была родительская доля в тылу. Кстати, есть основание предположить, что дети родились у наших персонажей именно в тыловые годы. На чем основано такое предположение? На том, что не указано выше по тексту, что мать (жена) искала сгинувшего в ГУЛАГе мужа, а найдя, поселилась у него в Оренбуржье хотя бы с одним ребенком. Будь так, повествователь скорее всего использовал бы такой аргумент. Мать с дитем на руках ищет в степном Оренбуржье сидельца-мужа; картина не для слабонервных... Могли ли ответственные родители решиться на деторождение, если бы не уверенность в достаточности ресурсов, хотя бы относительной, но стабильности на обозримые времена?...

Нами взят для анализа довольно сложный пример в силу своей неявной «стилистической демагогии». В большинстве случаев политологические, да и социологические тексты демонстрируют куда как более откровенную политическую ангажированность, идейную агрессивность их авторов. На страницах научных изданий продолжается противоборство «красных» и «белых», «почвенников» и «либералов», «славянофилов» и «западников» в безжалостной бинарной препозиции «свои» — «чужие»...

Отмеченные нами аномалии (с точки зрения традиционной литературной нормы) лексического содержания и стилистического оформления текстов гуманитарных научных исследований, естественно, не исчерпывают проблемы. Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что чрезмерный до болезненности энтузиазм некоторых российских ученых-обществоведов в противодействии «литературщине», с начала 90-х гг. практически перестал получать публичный отпор со стороны приверженцев литературной нормы. Косноязычие, ограниченность лексических средств и стилистический примитивизм при написании или артикуляции даже функциональных текстов, засоренность речи, а иногда и текстов ненормативной лексикой вот уже более двух десятилетий не воспринимаются в российском обществе следствием культурной несо-

стоятельности индивида. Слыть неграмотным отныне не стыдно. Более того, неграмотностью, случаются, бравируют, особенно те нувориши времени разбойных реформ, кто ввёл в лексикон общества ёрническую гаденькую поговорку: «Если ты такой умный (грамотный, высоко нравственный и т.п.), то отчего такой бедный?».

А ведь еще относительно недавно, в 60-х — 70-х ситуация была иной. Тогда своеобразным тестом на грамотность являлось, в частности, употребление глагола «положить», который, как известно, без предлога не употребляется. Тот, кто в приличной компании сказал бы «ложить», вместо «класть» — рисковал существенно подпортить свое реноме³⁵.

Словари, особенно ударений, несмотря на массовые тиражи и частое переиздание, раскупались как бестселлеры. Люди стремились к грамотности. Без нее не могло идти и речи об интеллигентности. Наконец, ее отсутствие могло повредить карьере.

Теперь даже дикторы, ведущие и корреспонденты федеральных телевизионных каналов вовсю «скрипят сердцем», «чешут на голове кол», сочувствуют куру, оттого, что он «попал во щи»³⁶. В этой узкопрофессиональной среде, всегда отличавшейся высоким уровнем грамотности, в полной мере восторжествовала «народная», она же — «ложная», «вульгарная» этимология³⁷. А недавно в эфире по-

пулярной радиостанции далеко не юный ведущий выдал перл: «Заправил полный бак, и ехай себе в удовольствие...».

Ну, вот и приехали...

Но почему в «застойные» и «тоталитарные» советские времена с массовой языковой культурой дело обстояло несравнимо лучше, чем в нынешние безраздельно либеральные? Недостаточно лишь показать социальное явление, которое мы определяем как активное самодеятельное противоборство со стороны городской советской интеллигенции 60-х гг. XX века лингвистическому — текстовому и вербальному — несоответствию норме, исходящему от другой части общества. Чтобы оставаться исследователями, мы обязаны указать побудительные мотивы энтузиастов такого рода противодействия.

Хотелось бы обнаружить благородный, по крайней мере, гуманитарный мотив подробного рода социальной активности. Например, противодействие вульгаризации общения как осознанной опасности для общей экологии культурной среды. Но так ли это было на самом деле? Вспомним, чем оказались для нашей страны 60-е, каковым сложился их фундаментальный социальный код.

В отечественном общественном сознании в наибольшей мере распространено мнение, что 60-е гг. XX в. для СССР явились периодом надежд и благих трансформаций общественно-политической системы. При этом отмечается, что система, несмотря на все усилия реформаторов, сохраняла рудименты сталинского тоталитаризма не только в своих идеологических догмах, но и в кадровом составе всех уровней управления и даже в кадровом резерве. Отсюда главной задачей общества декларировалась борьба с этими «пережитками» во имя окончательного торжества «правильного» (марксистско-ленинского) социализма.

Лишь по прошествии более полувека, в постсоветской России появляются исследования, в которых в качестве основополагающих характеристик интересующего нас периода советского бытования обозначены кризисные явления куда как более сложного порядка. Например, «<...> кризис мировоззренческой матрицы советского проекта в 60-80-е годы XX века и производный от него кризис когнитивной основы

³⁵ Вокруг неправомерного употребления пресловутого глагола драматургом Г. Полонским выстроен один из конфликтных узлов культового фильма 1968 г. «Доживем до понедельника» (реж. С. Ростокский, к/с им. М. Горького). Герой фильма учитель истории Илья Семенович Мельников (В. Тихонов) становится невольным свидетелем разговора в учительской двух молоденьких учительниц. Одна из них то и дело неправильно употребляет глагол, раз за разом произнося «ложит». Потомственный интеллигент И.С. Мельников не может выдерживать такого отношения к языку, да еще со стороны учительницы(!) и решает на гневную отповедь коллеге.

³⁶ Напомним тем, кто запомнил, что в первоисточнике — народных крылатых выражениях — человек, «скрепя сердце», таким образом, готовит себя к серьезным испытаниям. Что упрямец будет пребывать в своем упрямстве, «хоть кол ему на голове теши». Ну, а глупый кур, прежде чем оказаться ингредиентом какого-либо кулинарного блюда, все-таки попадает «в ощи».

³⁷ Как с сарказмом заметил филолог М. Эпштейн, ныне проживающий в г. Атланта (США) и преподающий в тамошнем университете: «Кажется, это единственная дисциплина, где слова “народный” и “ложный” употребляются как синонимы. Опять-таки, язык не дает солгать — даже своему привилегированному носителю, народу. В этом смысле скромная этимология подает прекрасный образец истории,

социологии, политологии, этнологии и прочим гораздо более влиятельным дисциплинам, где часто “народное” автоматически отождествляется с “истинным”». (Эпштейн М. Амероссия. Двукультурие и свобода // Амероссия. М., 2007. С. 247-248).

советской идеологической практики и советского обществоведения»³⁸.

Именно 60-е гг. характеризуются рядом обществоведов как временной рубеж последнего всплеска урбанизации в СССР, начало которому положила ускоренная индустриализация 30-х гг. Другими словами, в 60-е — 70-е гг. в уже достаточно устоявшееся городское население влились новые миллионы вчерашних селян. Тот самый контингент, который, по мысли С.Г. Кара-Мурзы, и сформировал «мировоззренческую матрицу советского проекта». И если советская система к тому времени обеспечивала всему населению страны фактически равный доступ к образованию, и новый мигрант при необходимости мог предъявить такие же по юридической значимости, как у потомственного горожанина «корочки» аттестата зрелости, свидетельства выпускника техникума и даже диплом вуза, то в отношении культуры потомственный горожанин и переселенец из крестьянской среды отличались весьма существенно. В том числе (а, может быть — в первую очередь!) уровнем речевой и письменной культуры.

В сложившейся обстановке, чаще всего уступая остро «заточенным» на достижение социального успеха «новым» горожанам-мигрантам в карьере и, следовательно, в обладании социальными благами и преференциями, «старые» горожане пытались взять реванш в индивидуальном и клановом культурном соревновании. В иные, устойчивые в отношении миграции времена, усвоенный горожанином уровень культуры служил ему, прежде всего, комплексом базовых элементов общественного бытования. В ситуации же повышенной миграционной активности по вектору «деревня — город», этот базовый комплекс становился как бы дополнительной метой, эмблемой потомственного горожанина, решившегося на пассивное противостояние «понаехавшим», своеобразным корпоративным паролем отзывом по принципу «свой — чужой».

«Чужим» новый горожанин — носитель, по С. Кара-Мурзе — «мировоззренческой матрицы советского проекта» — становился местному обывателю, в особенности — интеллигенту. Тем, кто, как правило, уже были заражены антисоветскими, антисоциалистическими настроениями, случалось даже — дисидентской идеологией.

«Своим», т.е. человеком советского, социалистического мировоззрения, мигрант оставался для многочисленных кадровиков и их начальников, которые были

способны, по крайней мере, на начальной ступени трудовой деятельности, помочь карьере достойного этой помощи работника. Помочь, понятно, не бескорыстно, а за лояльность и сотрудничество³⁹.

Таковы, по-нашему мнению, культурологические и социально-политические аспекты еще одного типа неклассового противостояния в советском обществе. Снова противостояние, еще одно противостояние...

* * *

Можно и далее приводить примеры сомнительной лексики и стилистики, которых, увы, немало в языке современной гуманитарной науки. В данной статье автор ограничился наиболее характерными образчиками, в которых, к тому же, отчетливо проявляется уже проясненная выше «лингвистическая поливалентность». Это означает, что не все аспекты проблеме являются следствием недостаточной языковой и стилистической культуры тех или иных индивидов; случается, сам язык не в состоянии предоставить научному сообществу в необходимой мере развитый лингвистический инструментарий.

Сложность задачи, тем не менее, не может оправдать упрощенчества в попытках её решения. «Бронебойный» аргумент ученого, что его статья понятна читателю, не может оправдать практики небрежного, приблизительного письма. Истинный ученый так много тратит интеллектуальной, да и просто физиологической энергии, чтобы сделать открытие, к которому шел, случается, многие годы. Ей Богу стоит приложить еще некоторую толику усилий, чтобы конечный результат — научный текст — выглядел пристойно и с точки зрения лексико-стилистического оформления.

³⁹ Отмеченное нами социальное явление, на фиксацию которого отечественной политологией в купе с социологией потребовались десятилетия, социальная литература уловила и отразила прямо в разгаре процесса. В подтверждение сошлемся на опубликованный в «Новом мире» за 1968 год рассказ Анатолия Ткаченко «Новоселье». Вчерашний селянин Иннокентий Симаков отмечает новоселье в кооперативной городской квартире, где собралась сельская родня и начальник Григорий Григорьевич — перетаскивший Симакова в город и устроивший экспедитором в своей стройконторе. На следующее утро, извиняясь перед соседом-интеллигентом за шумную разгульную ночь, Симаков обещает ему, себе и косвенно — всему своему бытующему и будущему роду: «Буду рвать с прошлым. Григорий Григорьевич, мой шеф, часто говорит мне: “Ты, Иннокентий, интеллигент в первом поколении, тебе за всех предков культуры надо набираться”. Я справлюсь, даю слово». (Ткаченко А. Новоселье // Новый мир. 1968. № 4. С. 73-87).

³⁸ Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. М., 2011. С. 16.

Список литературы:

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Белинский В.Г. Сто русских литераторов // Собр. соч. в IX т. М., 1979. Т. IV.
3. Брехт Б. Театр. Собрание сочинений в V т. М., 1965. Т. II.
4. Бурдьё П. Начала. М., 1994.
5. Голубицкий Ю. Социология и литературный процесс. Физиологический очерк (1830-1840 гг.) как предтеча русских социологий. М., 2010.
6. Добролюбов Н.А. Собр. соч. в IX т. Т. II.
7. Знание: собственность, и власть. Хрестоматия / научн. ред. ак. РАН В.А. Садовничий. М., 2010.
8. Иванов В.Д. Виртуализация общества. СПб, 2000.
9. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. М., 2011.
10. Кравченко А.И. Социология мнений и мнение о социологии // СОЦИС. 1992. № 3.
11. Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — начала XX века. М., 1993.
12. Литературный генезис русской социологии: роль физиологического очерка в становлении социологического знания. М., 2011.
13. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей // Ученые записки Мос. гос. пед. института им. В.И. Ленина № 307. М., 1968.
14. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1982.
15. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические размышления о сознании, символическом и языке. М., 2011.
16. Мартынов В. Время Алисы. М., 2010.
17. Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957.
18. Михайловский Н.К. Полн. собр. соч.: в X т. СПб, 1909. Т. I.
19. Осипов Г.В. Измерение социальной реальности (показатели и индикаторы). М., 2011.
20. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. М., 1958. Т. V.
21. Полвека борьбы и свершений. Материалы Пленарного заседания Всероссийского социологического конгресса 21 октября 2008 г. / под ред. ак. Г.В. Осипова и член-корр. РАН М.К. Горшкова. М., 2010.
22. Попова С.М., Шахрай С.М., Яник А.А. Измерения прогресса. М., 2010.
23. Пустовалов П.С. Стилистическое использование сложных предложений // Литературная учеба. 2009. № 4.
24. Рассел Бертран. Проблемы философии. Новосибирск, 2001.
25. Русский язык в свете творческой филологии // Знамя. 2006. № 1.
26. Сапов В.В. В начале «длинного пути» // Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. М., 2006.
27. Сиповский В. Этапы русской мысли. Пг., 1924.
28. Сиповский В.В. О сущности литературного влияния // Архив В.В. Сиповского. РО ИРЛИ РАН Ф. 279. № 68. Лист 9.
29. Ткаченко А. Новоселье // Новый мир. 1968. № 4.
30. Тургенев С.И. Отцы и дети. Минск, 1976.
31. Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004.
32. Эпштейн С. Ученые приказчики капитала // Новый мир. 1965. № 6.
33. Vaudrillard J. In the shadow of the silent majorities or The end of the social and other essays. New York: Seabury, 1983.
34. Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1984.

References (transliteration):

1. Bart R. Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika. M., 1994.
2. Belinskiy V.G. Sto russkikh literatorov. // Sobr.soch. v IX t. M., 1979. T. IV.
3. Brekht B. Teatr. Sobranie sochineniy v V t. M., 1965. T. II.
4. Burd'e P. Nachala. M., 1994.
5. Golubitskiy Yu. Sotsiologiya i literaturnyy protsess. Fiziologicheskiiy ocherk (1830-1840 gg.) kak predtecha russkikh sotsiologiy. M., 2010.
6. Dobrolyubov N.A. Sobr.soch. v IX t. T. II.

7. Znanie: sobstvennost', i vlast'. Khrestomatiya / nauchn. red. ak. RAN V.A. Sadovnichiy. M., 2010.
8. Ivanov V.D. Virtualizatsiya obshchestva. SPb, 2000.
9. Kara-Murza S.G. Krizisnoe obshchestvovedenie. M., 2011.
10. Kravchenko A.I. Sotsiologiya mneniy i mnenie o sotsiologii // SOTsIS. 1992. № 3.
11. Kukushkina E.I. Russkaya sotsiologiya XIX — nachala XX veka. M., 1993.
12. Literaturnyy genезis russkoy sotsiologii: rol' fiziologicheskogo ocherka v stanovlenii sotsiologicheskogo znaniya. M., 2011.
13. Losev A.F. Vvedenie v obshchuyu teoriyu yazykovykh modeley // Uchenye zapiski Mos. gos. ped. instituta im. V.I. Lenina № 307. M., 1968.
14. Losev A.F. Znak, simvol, mif. M., 1982.
15. Mamardashvili M.K., Pyatigorskiy A.M. Simvol i soznanie. Metafizicheskie razmyshleniya o soznanii, simvolike i yazyke. M., 2011.
16. Martynov V. Vremya Alisy. M., 2010.
17. Mering F. Karl Marks. Istoriya ego zhizni. M., 1957.
18. Mikhaylovskiy N.K. Poln. sobr. soch.: v X t. SPb., 1909. T. I.
19. Osipov G.V. Izmerenie sotsial'noy real'nosti (pokazateli i indikatory). M., 2011.
20. Plekhanov G. V. Izbrannye filosofskie proizvedeniya. M., 1958. T. V.
21. Polveka bor'by i sversheniy. Materialy Plenarnogo zasedaniya Vserossiyskogo sotsiologicheskogo kongressa 21 oktyabrya 2008 g. / pod red. ak. G.V. Osipova i chlen-korr. RAN M.K. Gorshkova. M., 2010.
22. Popova S.M., Shakhray S.M., Yanik A.A. Izmereniya progressa. M., 2010.
23. Pustovalov P.S. Stilisticheskoe ispol'zovanie slozhnykh predlozheniy // Literaturnaya ucheba. 2009. № 4.
24. Rassel Bertran. Problemy filosofii. Novosibirsk, 2001.
25. Russkiy yazyk v svete tvorcheskoy filologii // Znamya. 2006. № 1.
26. Sapov V.V. V nachale «dlinnogo puti» // Sorokin P.A. Prestuplenie i kara, podvig i nagrada. M., 2006.
27. Sipovskiy V. Etapy russkoy mysli. Pg., 1924.
28. Sipovskiy V.V. O sushchnosti literaturnogo vliyaniya // Arkhiv V.V. Sipovskogo. RO IRLI RAN F. 279. № 68. List 9.
29. Tel'man I. Mikhail Suslov i ego mokrostupy // Sekret — velelens.livejournal.com.
30. Tkachenko A. Novosel'e // Novyy mir. 1968. № 4.
31. Turgenev S.I. Ottsy i deti. Minsk, 1976.
32. Epshteyn M. Znak probela. O budushchem gumanitarnykh nauk. M., 2004.
33. Epshteyn S. Uchenye prikazchiki kapitala // Novyy mir. 1965. № 6.
34. Baudrillard J. In the shadow of the silent majorities or The end of the social and other essays. New York: Seabury, 1983.
35. Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1984.